



Информация для цитирования:

Жданов С. С. Травестийная городская Малороссия в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого / С. С. Жданов // Научный диалог. — 2024. — Т. 13. — № 9. — С. 239—268. — DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268.

Zhdanov, A. S. (2024). Travesty of Urban Little Russia in Travelogue “Famous Drums Beyond Mountains, or My Journey Somewhere in 1810” by I. M. Dolgorukov. *Nauchnyi dialog*, 13 (9): 239-268. DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268. (In Russ.).



Перечень рецензируемых изданий ВАК при Минобрнауки РФ

Травестийная городская Малороссия в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого

Жданов Сергей Сергеевич
orcid.org/0000-0002-8898-6497
доктор филологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
fstud2008@yandex.ru

Новосибирский государственный
технический университет
(Новосибирск, Россия)

Благодарности:

Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда
(проект № 24-28-01431 «Репрезентация
пространства Украины в русской
культуре конца XVIII—XIX веков
(на материале отечественных
травелогов): дискурсы,
нарративы, топосы»,
<https://rscf.ru/project/24-28-01431/>)

Travesty of Urban Little Russia in Travelogue “Famous Drums Beyond Mountains, or My Journey Somewhere in 1810” by I. M. Dolgorukov

Sergey S. Zhdanov
orcid.org/0000-0002-8898-6497
Doctor of Philology, Associate Professor,
leading research scientist
fstud2008@yandex.ru

Novosibirsk State
Technical University
(Novosibirsk, Russia)

Acknowledgments:

The study is supported
by Russian Science Foundation,
project number 24-28-01431
“Representation of Ukrainian space
in Russian culture end of the XVIII—XIX
centuries (based on domestic travelogues):
discourses, narratives, topoi”,
<https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Аннотация:

Рассматривается репрезентация городов Малороссии в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого в рамках семиотико-имагологического анализа. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом отечественного литературоведения к проблематике украинскости, которая еще недостаточно изучена в пространственном аспекте. В связи с этим новизна исследования заключается в анализе элементов городской образности Малороссии, ограниченной описаниями Харькова, Полтавы и Киева. Отмечены тенденции к остранению и травестизации в изображении этих городов и лейтмотивы чужести малороссийского пространства и тоски по-своему. Значимое место в повествовании занимает история рода Долгоруких, тесно связанная с топосами Малороссии, прежде всего с Киевом, где скончались бабушка и дядя автора. Описание города маркировано мотивами привлекательности, упорядоченности, масштабности, богатства, древности, славы, сакральности, военности, часть которых, однако, травестирована. Пространства Харькова и Полтавы представлены как амбивалентные провинциальные топосы, которые отмечены чертами и упорядоченности, и энтропийности. Упорядоченность Харькова связана с описанием образовательных локусов, а положительные мотивы Полтавы относятся к пространству исторической памяти.

Ключевые слова:

травелог; имагология; И. М. Долгорукий; репрезентация Украины в русской словесности; образ Малороссии.

ORIGINAL ARTICLES

Abstract:

This study explores the representation of cities in Little Russia as depicted in I. M. Dolgorukov's travelogue "Famous Drums Beyond the Mountains, or My Journey Somewhere in 1810" through a semiotic and imagological lens. The relevance of this research is underscored by the growing interest in Ukrainian identity within contemporary literary studies, particularly concerning its spatial dimensions, which remain underexplored. Consequently, this study offers a novel analysis of the urban imagery of Little Russia, focusing on descriptions of Kharkiv, Poltava, and Kyiv. Notable trends of estrangement and travesty emerge in the portrayal of these cities, alongside recurring motifs of alienation within the Little Russian landscape and a nostalgic yearning for belonging. A significant aspect of the narrative is the history of the Dolgorukov family, intricately linked to the topos of Little Russia, particularly Kyiv, where the author's grandmother and uncle passed away. The city's depiction is marked by themes of allure, orderliness, grandeur, wealth, antiquity, glory, and sacredness, some of which are subject to travesty. The spaces of Kharkiv and Poltava are presented as ambivalent provincial toposes characterized by both ordered and entropic qualities. The orderliness of Kharkiv is associated with descriptions of educational loci, while the positive motifs of Poltava relate to the realm of historical memory.

Key words:

travelogue; imagology; I. M. Dolgorukov; representation of Ukraine in Russian literature; image of Little Russia.



Травестийная городская Малороссия в травелоге «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого

© Жданов С. С., 2024

1. Введение = Introduction

Имагологическая по своей сути проблема репрезентации Украины в русской словесности XIX века не раз исследовалась в современных литературоведческих работах на материале различного рода текстов, например, написанных Н. В. Гоголем [Овчинников, 2016; Черкашина, 2012]. Также крайне значимым и весьма объемным источником украинских образов выступают отечественные травелоги, описывающие путешествия по Малороссии (и Новороссии), примером чему служат статьи [Киселев и др., 2015; Фарафонова, 2017]. Существуют работы по жанровой проблематике отечественных травелогов, где затрагивается тема Украины [Кублицкая, 2022; Соловьев, 2011; Шенле, 2004]. Во множестве исследований беллетристика и различные эго-документы привлекаются совместно для характеристики украинскости как элемента русской культуры [Васильева, 2014; Марчуков, 2011]. Ряд обращающихся к данной проблематике работ сосредоточен преимущественно на характерологии украинцев / малороссов. Это, в частности, исследования Е. Е. Левкиевской [Левкиевская, 2008], С. С. Белякова [Беляков, 2015]. В иных исследованиях украинский текст русской литературы изучается в рамках романтического нарратива [Крюкова, 2017; Курьянов, 2018]. Наконец, фокусом внимания ученых могут становиться отдельные аспекты украинской пространственности, как, например, образ степи в статье А. А. Сторожевой [Сторожева, 2021] или образ Киева в диссертации И. Булкиной [Булкина, 2010].

В то же время, несмотря на растущее внимание к украинской проблематике в отечественном литературоведении, обусловленное в том числе вызовами современности, здесь имеются еще значительные лакуны. Хотя, как показано выше, относительно неплохо уже исследованы репрезентации Украины в романтическом нарративе, а также в ряде сентименталистских травелогов (например, В. В. Измайлова, П. И. Шаликова, А. И. Лев-



шина), другие тексты путевой литературы, в том числе интересующего нас И. М. Долгорукого, еще требуют детального литературоведческого анализа.

2. Материал, методы, обзор = **Material, Methods, Review**

Материалом исследования служит «малороссийский» фрагмент травелога Долгорукого «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года», подвергнутый семиотико-имагологическому анализу в рамках литературоведческой имагологии как научной отрасли, занимающейся изучением образов Своего и Чужого в литературных текстах. При этом за рамки статьи выведены дорожные впечатления автора от посещения Новороссии и Великороссии. Целью же исследования является аналитическое описание представленной в произведении пространственной структуры Малороссии, в том числе в контексте отечественной словесности начала XIX века.

Разумеется, травелог Долгорукого нельзя назвать абсолютно неизвестным для литературоведения. В частности, данный текст упоминается эпизодически в статьях, посвященных специфике литературы путешествий [Гуминский, 2017; Морозова, 2010; Никольский, 2019] и собственно репрезентациям украинскости [Беляков, 2015а; Беляков, 2020; Васильева, 2016; Киселев и др., 2015; Курьянов, 2018а]. Кроме того, он привлекается в качестве одного из множества источников в вышеупомянутых монографии А. В. Марчукова и диссертации И. Булкиной, но и здесь объем цитации произведения исследователями весьма незначителен. Также заметим, что последнего автора интересует исключительно образ Киева. В работе же Д. В. Шаталова, где обращений к тексту Долгорукого больше, автор сфокусирован на проблеме казацкости, что дает возможность изучить образы Малороссии в травелогe лишь фрагментарно. Отталкиваясь от вышеизложенного, можно сделать вывод о новизне нашего исследования, нацеленного на относительно цельную репрезентацию городского малороссийского пространства в тексте Долгорукого, что, в свою очередь, позволяет выявить специфику данной образности в целом, а также отдельные особенности в изображении конкретных топосов.

3. Результаты и обсуждение = **Results and Discussion**

3.1. Общие особенности репрезентации Малороссии в травелогe

Прежде чем анализировать отдельные пространственные образы, представленные в тексте Долгорукого, следует зафиксировать общую авторскую специфику репрезентации Малороссии. С. О. Курьянов ставит этот травелог в общий ряд с «сентиментальными путешествиями» Левшина («Письма из Малороссии»), Шаликова («Путешествие в Малороссию») и «Другое путешествие в Малороссию»), а также П. И. Сумарокова («Пу-



тешестве по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» и «Досуги Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду») [Курьянов, 2018а, с. 44]. Со своей стороны, однако, заметим, что травелог Долгорукого, хотя и содержит отдельные элементы сентименталистского дискурса, в большей своей части лишен сверхэмоционального любования природой, присущего левшинскому и шаликовскому текстам. По сдержанности авторской интонации и рациональности он, как представляется, более походит на сумароковское «Путешествие...», но отличается от последнего меньшей комплиментарностью: фронтирное пространство Новороссии у Сумарокова, несмотря на достаточно высокую энтропийность, охарактеризовано в целом положительно [Жданов, 2024]. Репрезентацию же Малороссии (а в еще большей степени Новороссии) у Долгорукого можно назвать травестийной, проникнутой иронией и ориентированной на остранение описаний.

Эта травестийность заключается в самом названии травелога, в котором выведена русская поговорка «Славны бубны за горами», отсылающая отнюдь не к карамзинской традиции описания Чужого с ее «ксенофилией» (любованием Чужим), а к изображению заграницы Д. И. Фонвизиним, в путевых письмах которого данная поговорка «стала своего рода смысловым рефреном» [Гуминский, 2017, с. 122] и в конце XVIII — первой половине XIX веков могла рассматриваться «устойчивым метафорическим отзывом в русской словесности о другой культуре» [Морозова, 2010, с. 373]. Помимо текстов Фонвизина, В. Н. Зиновьева и Долгорукого, мотив славных за горами бубнов актуализирован в макаронической, проникнутой травестий поэме И. П. Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л'Этранже» в форме эпитафии на французском «Де бон тамбур де баск дерьер ле монтанье». Также Долгорукий обращается к данной поговорке, когда описывает острабяющий мотив холодной Малороссии, притом, что «полуденная Россия» в русских травелогах начала XIX века традиционно маркирована южностью, «сопоставлением с Грецией или Италией» [Васильева, 2014, с. 52]. Ср., например, в «крымском» фрагменте травелога Н. С. Всеволожского обозначение «полуденного берега»: «Италия России» [Всеволожский, 1839, с. 81]. В тексте же Долгорукого Малороссия, наоборот, контекстуально получает маркер северности: «В этом климате был мороз... Не знаю, такой ли был год или это обыкновенно и в Малороссии, как у нас около Севера; но узнавши это, я сказал про себя: “Славны бубны за горами. Искали тепла — нашли стужу”» [Долгорукий, 1870, с. 81]. Собственно говоря, данная деталь важна здесь не как реалия, хотя расхождение между «типажной» южностью «полуденного» пространства и реальным климатом отмечаем, например, и в травелоге М. П. Жданова: «Удивительно, что с некоторого времени климат южной



России значительно изменился, сделался гораздо суровее» [Жданов, 1843, с. 103]. Для нас главное — это установка Долгорукого на ostraneniye и travestiю повествования, позволяющая создать свою репрезентацию описываемого пространства.

Ostraneniye, на наш взгляд, пронизывает текст Долгорукого и обусловлено акцентированным восприятием юго-западных лиминальных топосов Российской империи как территории (частично) Чужого. Если в левшинском травелоге эта парциальная чуждость Малороссии в значительной степени сглаживается и снимается за счет репрезентации общего древнерусского топоса как общерусского пространства прошлого, корреспондирующего с общерусским имперским пространством настоящего и будущего, где великоросский и малоросский варианты объединяются в единое целое, если в более поздней путевой прозе Жданова переход от русской Белгородчины к слобожанской Харьковщине едва обозначен, то Долгорукий акцентирует как чуждость Малороссии, так и пространство границы / перехода от Своего к Чужому, которое обозначено традиционными мотивами южности, плодородия, мазанок (в качестве специфического варианта Дома), а также особой антропностью (образы Хмельницкого, Мазепы и вообще «Хохлов»): «Наконец въехали мы в пределы Украйны, Зачал приходить мне на память Пан Хмельницкий и Мазепа. <...> Везде без исключения мазанки... Появились Хохлы. В 28 верстах от Харькова деревня Липцы ими населена. Увидели мы образчики плодородного климата: на воздухе роятся арбузы без всякого садовнического присмотра» [Долгорукий, 1870, с. 46]. Нельзя сказать, что это описание первого опыта столкновения с малороссийским топосом уникально. Те же помеченные инакостью антропные и природные образы встречаем и у Всеволожского: «Здесь чувствуешь уж совсем иную природу: ты вступил в Малороссию! народ не тот, черты лица другие, почва земли, местоположения, все принимает другой вид <...> уж начинаешь чувствовать влияние умеренного климата» [Всеволожский, 1839, с. 11]. В сумароковских «Досугах крымского судьи...» маркирование лиминальной Малороссии в качестве пространства Чужого также явственно, в результате чего оно воспринимается почти как заграничное: «Но что означает в селе Липцах... сия крутая перемена во всем, что только взору не представляется? Вот белеются униженные мазанки; вот поселене с обритыми головами, разъезжают на волах, и вот открытые шинки винной продажи. <...> Неужель тут положен пределе Империи? <...> — Нет! Империя все продолжается; а отсюда начинается край, называемый Малороссией» [Сумароков, 1803, с. 45].

Но именно у Долгорукого чуждость Малороссии является лейтмотивом повествования, к которому он не раз возвращается. Например, данный



лейтмотив актуализируется как мотив чужого языка, то есть отсутствия коммуникации, который настолько заострен, что А. В. Марчуков называет «этот случай» «практически единичным» «даже среди образованных путешественников» [Марчуков, 2011, с. 73]: «Здесь уже я почитал себя в чужих краях, по самой простой... причине: я переставал понимать язык народный <...> где перестает нам быть вразумительно наречие народа, там и границы нашей родины, а по-моему, даже и отечества» [Долгорукий, 1870, с. 64]. Причем в контексте высказывания автор фактически уравнивает малороссиянина и «лифляндца» как имеющих «для России», то есть для Долгорукого, статус «иностранца» [Там же]. Разумеется, повествователь оговаривает, что эта чуждость зафиксирована им исходя из языка «черни», которая «определяет живые урочища между Царствами, кои политика связывает», а чиновники являются «космополитами», принадлежащими «всем странам» [Там же], то есть разделяет этническое и государственное (имперское) начала (ср. с сумароковской амбивалентной характеристикой пространства Малороссии как «иной» земли, но части империи). Левшин же в своей репрезентации малороссиян аналогично упоминает, что его «замечания» «будут относиться токмо до простого народа» [Левшин, 1816, с. 62]. Но у последнего автора тем не менее тенденция описания малороссийской антропности основывается на просветительской идее общности человеческой природы: те же «суеверия и предрассудки» малороссиян обозначены «общими всем векам и всем племенам, потому что все люди, особливо непросвещенные, заражены ими» [Там же, с. 73]. Долгорукий же последовательно акцентирует чуждость малороссийского пространства, например киевского: «Я часто воображал себе, что мы в чужих краях <...> Киевляне были для нас как бы чужеземцы» [Долгорукий, 1870, с. 299]. Сюда же отнесем и обозначение малороссиян как «антиподов» [Там же, с. 246] и «ориенталистское» сравнение «Хохла» с «Негром» [Там же, с. 243].

Это акцентирование мотива чужести объясняется по-разному. Так, А. В. Марчуков видит в упоминании «непонятного» языка проявление «специфики жанра» русского травелога рубежа веков, в котором описываемые чужеземные (прежде всего неевропейские) народы воспринимаются как «туземцы»: «Как только мода на жанр сойдет, а образ Малороссии и ее народа закрепится в сознании как “свой”, русские бары будут “без труда” спрашивать дорогу и прочую полезную информацию у малороссийских мужиков, как это делали те же паломники, не испытывавшие языковых барьеров» [Марчуков, 2011, с. 73]. С. С. Беляков радикально рассматривает позицию Долгорукого как «социальный и национальный расизм» [Беляков, 2015а, с. 83]. Т. А. Васильева же полагает, что «формирующийся русский национализм придал особую актуальность системе различений свое-

го и чужого, обостря чувствительность имперских авторов к культурным границам» [Васильева, 2016, с. 10]. Отчасти можно согласиться с мнением А. В. Марчукова, поскольку в более позднем, по сравнению с произведением Долгорукого, травелоге Жданова (но не у Всеволожского) мотив чужести фактически отсутствует, а в путевой прозе Н. И. Греча и вовсе понятие Своего распространяется на западно-украинскую Волынь: «Вам удивительно слышать, что здесь, на границе Галиции, на Волыни, говорят и молятся по-русски? <...> Крестьяне здесь все Русские, православные» [Греч, 1839, с. 190]. Нельзя не согласиться и с Т. А. Васильевой, что интенсификация государственного строительства и межкультурных контактов актуализировали процесс национально-самоидентификации как выстраивания своего, в том числе через отталкивание от Чужого.

Но, как нам представляется, в случае Долгорукого нужно учесть еще один весьма важный аспект — особую привязанность нарратора к Своему, причем локально определенному, к Москве и Владимиру. Покидая этот круг родственных и дружеских связей, Долгорукий мысленно возвращается к своему пространству, более того, подчеркивает разницу между родиной и отечеством (государством): «Можно не иметь отечества, родина есть у всякого» [Долгорукий, 1870, с. 64]. Выезжая из Москвы, автор посвящает ей четверостишие с таким словами: «Тебя ли, родина, забуду, Москва, мой отчий дом, мой рай!» [Там же, с. 1]. Находясь в Одессе, он посылает «к родине своей, Москве» «дружеские объятия» [Там же, с. 135]. Даже встреча под Кременчугом «мужика, соседа нашей подмосковной», меняет настроение нарратора: «Я этому простому мужику обрадовался» [Там же, с. 91]. Возвращение в Москву описано через мотив пробуждения, сцена отмечена крайней позитивной эмоциональностью: «Я проснулся, как ото сна, взвидел Ивановскую колокольню и по чувству непостижимой любви к родине сердце мое затрепетало. “Москва! Москва!” вскричал я» [Там же, с. 350]. Родина и родня тесно связаны в сознании Долгорукого. Пребывание в малороссийском поместье сестры возвращает частично автору чувство Своего: «Я в чужой стороне, за тысячу слишком верст от своей, находил дом свой и свою родину» [Там же, с. 239]. То же относится и к пребыванию в узком кругу друзей в Киеве («как бы на своей родине») [Там же, с. 299]. Письма же от родни, полученные в Киеве, заставляют Долгорукого чувствовать приближение «помаленьку к тому краю, где Бог велел мне родиться и первые лучи солнца увидеть» [Там же, с. 246]. Также автор сопоставляет пространства Владимира (Свое) и Малороссии (Чужое). Последнее может уступать первому («Князь Лобанов уверял меня, что окрестности Полтавы очаровательны; ...но я того не приметил, <...> я нигде не встречал таких видов, какие в наших местах. ...что может быть

величественнее той площади, на которой посажен Владимир?» [Там же, с. 87]; «Хотите ли есть славные вишни? Поезжайте во Владимир: там вы сорвете лучшие» [Там же, с. 102] или в киевском варианте выполнять роль «прообраза» Своего («Владимир... маленький рисунок Киева» [Там же, с. 259]; «он (*Киев*. — С. Ж.) много выше Владимирских холмов; да и Днепр... гораздо шире и важнее Клязьмы. Чтоб много похвалить Владимир, довольно сказать, что он Киев в маленьком виде» [Там же, с. 304]).

Наконец, нельзя не упомянуть про мотивировку вояжа Долгоруково. Если Левшин в предисловии «Писем...» заявляет свое путешествие в Малороссию как погружение в пространство общерусской исторической памяти («Древняя История Российская давно возбуждала во мне желание видеть Малороссию» [Левшин, 1816, с. I]), то Долгорукий акцентирует сугубо частный, развлекательный, мотив поездки, притом в ироническом ключе, травестирующем образ Малороссии / Новороссии как эрзаца привлекательного для него французского пространства Чужого: «Уехал бы в Париж, потому что люблю шум, гам, театр, роскошь и прочее; а где все этого более, как не во Франции? Но у кого нет ни вотчин, ни денег, тот живет, как Бог велит. <...> Я решился и поехал... в Одессу» [Долгорукий, 1870, с. 1]. Это придает репрезентации Малороссии у Долгорукого более свободный, хотя и менее масштабно-«исторический» характер, позволяет вдаваться в житейские частности, критиковать, иронизировать и т. п.

Вторая внутренняя мотивировка малороссийского вояжа открывается не сразу, а лишь фактически ближе к концу — в момент попадания в Киев и конкретнее в Лавру: «Въехавши в город, пустились, не заходя на квартиру, прямо в Лавру: там... почивали кости почтенной прародительницы моей, схимонахини Нектарии <...> Гроб схимонахини Нектарии был главный предмет моего путешествия и давнишняя цель моего желания» [Там же, с. 253—254]. Здесь открывается амбивалентный взгляд Долгорукого на Малороссию как на Свое в Чужом. Помимо образа сестры, автора связывает с данным пространством образ бабки, княгини Н. Б. Долгорукой¹, для которой Киев выступает как место упокоения, но и ссылки, страдания, смерти сына: «Тело ее погребено при самом входе в Киево-Печерскую Лавру, рядом с гробом сына ее, которого потеря растворила все ее раны душевные» [Там же, с. 257]. Соответственно, Малороссия для Долгорукого есть пространство, священное в рамках семейного предания («я воздел

1 О Нектарии в связи с пространством Лавры пишет Греч: «При входе в большую церковь покоится знаменитая добродетелями и несчастьями своими Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, урожденная Шереметева, скончавшаяся схимонахиною в 1771 году» [Греч, 1839, с. 108]. Но его ремарка не идет ни в какое сравнение с тем значением, которое имеет образ княгини в тексте Долгорукого.



руки к небу, воздал хвалу Богу, пал ниц на гроб, толико знаменитый в роде нашем» [Там же, с. 254]) и притом имеющее атрибуты исторической несправедливости (светской и духовной) власти по отношению к роду Долгоруких. Это ощущение несправедливости, в числе прочего, дает автору «право» критиковать власть и травестировать репрезентацию пространства, что, в частности, проявляется в образе де юре анонимизированных гробов предков: «Над сими остатками положены были... плиты с надписями; но как шествовал чрез Киев Государь Павел..., тогдашний Митрополит Киевский рассудил приказать доски повернуть гладью вверх... с тех пор надгробные доски так и остались; надписей не видно, все через них ходят» [Там же, с. 258]. Аналогичную связь с образами предков актуализирует травестированный образ церкви-ломбарда: «Видел я портрет дяди моего, Князя Дмитрия Ивановича... в монашеском одеянии; <...> в собрании церковных одежд кажут... ризы, кои приложила Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, бабка моя, живши в Киеве. Она... не с тем дала их в Лавру, чтоб их показывали. ...для меня всегда казаться будет неприличным, что из ризниц сделались ломбарды» [Там же, с. 267]. Тот же мотив смешения священного и светского (притом в личной для автора огласовке) мы встречаем в описании локуса харьковской церкви, где акцентированы образы двух портретов, императриц Елизаветы и Анны, противопоставленных нарратором друг другу: «Я не мог равнодушно смотреть на такую противоположность: жизнь и смерть, улыбка кротости и бледная тирания с глаз на глаз. Мне простят, ради моего прозванья, маленькую дрожь при взгляде на грозную Анну. Ах! если в местах, посвященных Божеству, могут... терпимы быть такие жертвоприношения людям великим, то пусть уже ставят в них черты Антонинов, Марк Аврелиев, Елисавет, а времена Бирона почти напоминать под сению миролюбивого Христа?» [Там же, с. 47]. Соответственно, малороссийское пространство исторической памяти приобретает для автора личностную окраску за счет резко отрицательно поданных образов Анны Иоановны и Бирона как гонителей Долгоруких. Эта особенность проявляется и в репрезентации локуса харьковской библиотеки при училище с экспрессивно описанным образом грамоты, «пожалованной» «Императрицею Анной»: «Увидя тот почерк, которым... подписана казнь моего деда, я закрыл глаза и бархатную книгу <...> я несколько мгновений был в трепетном ужасе» [Там же, с. 49].

3.2. Репрезентация провинциальных Харькова и Полтавы

Поскольку репрезентация Малороссии в тексте Долгорукого весьма значительна по объему, здесь мы ограничимся анализом пространства основных городских топосов, причем в этом разделе речь пойдет о двух губернских городах — Харькове и Полтаве, в следующем же — о Киеве как



имеющем особое значение в малороссийском пространстве, в том числе, что было продемонстрировано выше, и для самого нарратора.

В характеристике Харькова и Полтавы в тексте Долгорукого есть ряд общих черт, связанных с амбивалентностью репрезентации пространства провинциальной Малороссии. Эта общность проявляется прежде всего в негативных характеристиках, обусловленных энтропийным началом, выраженным мотивами неуюта, неустройства, визуальной непривлекательности, дороговизны, пустынности, безводности, маломасштабности. Это касается как общей характеристики Харькова («Если судить о городах по наружному их виду, то Харьков не утешит: он расположен худо и вид представляет самый пустынный» [Там же, с. 46—47]; «Река в городе обыкновенно не хороша и бедна водою» [Там же, с. 53]) и Полтавы (город «дурен в натуре»; «Река весьма неважная; край бедный и степной» [Там же, с. 65]), так и отдельных локусов, например, богоугодных заведений («Заведениями Приказа здесь хватать нельзя: все есть понемножку, но в большой тесноте. <...> помещение недостаточно. Мазанки, содержащие... страждущих и безумных, в развалинах» [Там же, с. 53] — о Харькове; «Желал бы их (полтавские богоугодные заведения. — С. Ж.) похвалить, но льстить не умею. <...> В... содержании их не нашел... порядка: безумные все в одной комнате... Горницы для недужных не имеют довольной высоты, и тесно поставлены кровати» [Там же, с. 80] — о Полтаве), а также гостиниц и трактиров («все постоялые двory дороги и беспокойны; трактир совсем не хорош» [Там же, с. 46] — о Харькове; «для заезжего в городе нет ничего, даже за деньги. <...> Вот обстоятельства гостиного желудка в Малороссии!» [Там же, с. 87—88] — о Полтаве). Мотивы непривлекательности, узости характерны и для описания провинциальных домов. Даже дома крупных харьковских чиновников «не отвечают их готовности угощать: малы, низки и для большой публики тесны» [Там же, с. 54]. Описание построенных из кизяка и глины домов полтавских обывателей и вовсе травестировано через уподобление внешнего вида строений «лицу в оспе» [Там же, с. 67]. Травестийны и образы местных церквей, в которых, по мнению нарратора, неуместно смешаны светское и священное начала. В предыдущем разделе мы писали о портретах императриц Елисаветы и Анны в харьковской церкви. В полтавском же соборе автор встречает изображение «Князя Василья Михайловича» Долгорукого-Крымского, относя мотив этого смещения к типичным для Малороссии («Везде видевши на пути в Малороссию портреты многих знаменитых особ в гражданстве на церковных стенах, не дивился уже и здесь»), но акцентируя его в образе княжеского герба: «Но что меня в новое и несказанное привело изумление, это герб его, написанный на самом иконостасе, внизу под образом Спасителевым. О! как

это мне показалось неприлично! <...> Атрибутов светских с духовными никогда смешивать, по мнению моему, не должно» [Там же, с. 79].

Впрочем, в репрезентации Полтавы негативных характеристик больше. Помимо вышеупомянутых мест, отрицательно отмечены полтавские локусы образовательного пространства (в Военном воспитательном доме «дети живут тесно, воздух сжат и нездоров»; «Дети спят в шкапах, из коих выдвигают кровати, <...> сколько заводится гаду! <...> в Детской Больнице очень тесно и душно» [Там же, с. 81]), торговли («сделать город красивым, знатным — одна сильна торговля, а здесь какой ей быть?») [Там же, с. 66]; «Гостиный двор деревянный и в самом жалком состоянии; лавки ниже тех, в коих книгами Церковными торгуют в Москве на Спасском мосту; <...> товару мало и все неважный» [Там же, с. 67]), театра («Есть и театр в Полтаве... Строением он не важен, да не хвалят и актеров» [Там же, с. 87]). В еще большей степени негативно заострен образ промышленного пространства — суконной фабрики и находящейся при ней «Немецкой слободы», «колонии иностранцев» [Там же, с. 82]. Этот локус отмечен мотивами нерационального устройства, кажимости, непрочности, неудобства («Кто скажет удостоверительно, сколько наберут ткачи в долг... и сколько без возврата пропадет из сего заемного капитала? <...> пусть цена, к общей похвале заводчиков, воображается на бумаге 82 коп., время откроет глаза и покажет истину: мишура золотом казаться не может» [Там же, с. 83]; «Один из мастеров ткал при мне сукно <...> для корпуса это движение тяжело и даже насильственно» [Там же, с. 84]) и даже тюрьмы, что подчеркнуто в описании домашних сублокусов слободы: «Каждый «карточный дом» «из плетня, набитого навозом», «стоил казне до 2 тысяч, а простоит ли пять лет <...> настоящие тюрьмы <...> Стены... прозрачны, как решето, и от сотрясения станов во время работы чувствительно даже, как они зыблются» [Там же, с. 82—83]. Ироничен и локус неудобных и грязных дорог Полтавы: «нет мостовых; не из чего их сделать: ни камня, ни лесу; от этого в сильные... дожди... кряж земли... скоро мокнет и дает жирную грязь, в которой все вязнет» [Там же, с. 65—66]. Травестируют образ города упоминания о поездках «полтавских щеголих» «в бриллиантовых ожерельях» на волах из-за отсутствия мостовых («иногда дамы, приглашаемый на бал или чей-либо праздник, не могут на лошадах доехать: все тонет среди улицы — и животные и повозка») [Там же, с. 67].

Вышеупомянутые мотивы нерационального устройства, неоправданных трат и кажимости фокусирует на себе амбивалентный образ недавнего генерал-губернатора князя Куракина, своего рода содемиурга Полтавы (наряду с Петром I). С одной стороны, князь изображен как расширитель пространства города, его упорядочиватель и ритуализатор сакрального прошло-

го: «Князь Куракин, быв здешним начальником, учредил или, лучше сказать, установил при сем издавна существующем богослужении всю ту пышность в обрядах наружных, какая прилична столь знаменитому историческому действию, и она с тех пор неприкосновенна» [Там же, с. 74—75]; «Князь Куракин весьма старался сделать из Полтавы в малом виде Петербург» [Там же, с. 67]; «Прирезал к городу кусок большой степи и образовал площадь» [Там же, с. 68]. С другой стороны, многие начинания генерал-губернатора травестийно искажаются в энтропийном пространстве провинциальной Полтавы, образ которой становится «кривым зеркалом» столицы, «большого» Петербурга: «...наделал здесь бульваров и тротуаров из какого-то ломкого щебня, набивал их песком; от этого в сухое время в городе пыль столбом. Все такие затеи несообразны были с местом, бедны, низки и, как Французы говорят, mesquin» [Там же, с. 67]. Те же мотивы мелочности и несурзности маркируют локус задуманной Куракиным главной площади города: «Она... как особое что-то, пришта к городу, и тем делает старинную Полтаву еще хуже; ибо округлость ее весьма великолепна. <...> Все это стало Казне слишком до миллиона руб.» [Там же, с. 68]. По Долгорукому, как помпезен новый большой не соответствующий петровскому прошлому памятник Полтавской битвы, о котором речь пойдет ниже, так и новая выстроенная посреди «продолжительных степей» [Там же, с. 68] «пространная», «бесподобная в своем роде» [Там же, с. 69] площадь, сама по себе отмеченная привлекательностью, не подходит старой провинциальной Полтаве. Притом сублокус гимназии на площади является симулякром, охарактеризован мотивами кажимости и игрушечности: «На место Гимназии, которая... еще и не заложена, дабы сохранить всю прелесть оптики, ...сделан щит, представляющий дом в два этажа с красной крышкой, в том самом размере и по той фасаде, какие даны для настоящего здания. Это... обманывает глаза...: эта игрушка... не безделицы стоит по своей огромности в безлесном месте» [Там же, с. 68]. Несоразмерность притязаний топоса на столичность подчеркивает и ремарка, что «при Екатерине Полтава была Уездный только город» [Там же, с. 66].

Амбивалентно описаны демиприродные локусы Полтавы. Так, сад местного «обывателя», с одной стороны, назван «прекрасным местом» с «наипрекраснейшими деревьями» [Там же, с. 77], с другой — о нем замечено, что «одна натура его убирала: он никакого щегольства не получил от искусства и роскоши» [Там же, с. 78]. Далее нарратор противопоставляет собственное невысокое мнение о полтавских садах общепринятому: «Князь Лобанов уверял меня, что окрестности Полтавы очаровательны; быть может, но я того не приметил»; дача Г. Милорадовича, «которую казали мне за диковинку», не показалась «даже хорошей» [Там же, с. 87].

Разумеется, отдельные локусы Полтавы маркированы безусловно положительными мотивами визуальной привлекательности и чистоты («хорошие фасады» домов, «рынок очень опрятный и со вкусом», колодцы «очень хорошо отделаны и чисты» [Там же, с. 67], «изрядная богодельня», «комната для родильниц хороша», «аптека в прекрасном состоянии» [Там же, с. 80]), но это лишь «островки» упорядоченного среди торжества энтропии.

Здесь кроется существенная разница в тексте Долгорукого между образами Полтавы и Харькова. При общей схожести вариантов малороссийского городского пространства репрезентация последнего города в большей степени положительна в современном автору темпоральном слое описания. В частности, харьковское пространство повседневности отмечено мотивами веселья, гостеприимства, изобилия и роскоши (в локусах элиты, конечно): «В нем живут весело и любят угощение» [Там же, с. 47]; «Все то, что я видал в домах Губернатора и Вице-Губернатора, заставляет думать, что в Харькове без скуки можно проводить время»; роскошь «здесь вошла в кости каждого <...> все заставляет чувствовать прелести улучшенного света» [Там же, с. 54]. Полтава, наоборот, маркирована скучностью, замкнутостью, отсутствием публичной жизни: «Полтава не щеголяет увеселениями. Мысли каждого жителя устремлены на одно хозяйство» [Там же, с. 85]; «Публика уединенна и вообще нисколько не любит шумных увеселений. <...> Нет вкуса к удовольствиям роскошным, все скупое и каждый сжат в доме своем, как в скорлупе» [Там же, с. 87].

Положительно охарактеризовано образовательное пространство Харькова (в отличие от Полтавы), представленное локусами Коллегиума и Университета. Первый корреспондирует с петровским темпоральным слоем, актуализированным с помощью образа основателя, «современника Петра I, Фельдмаршала Голицына» [Там же, с. 48]. Автор отмечает библиотеку училища, в которой наличествуют, наряду с вышеупомянутой грамотой императрицы Анны, «Летописец Дмитрия Ростовского, Отче Наш на ста диалектах, Библия на 6 Восточных языках с Лексиконом на стольких же, и тех же руководство к переводу» [Там же, с. 49]. Университет же ассоциирован с образом начальника харьковского округа, графа Потоцкого, и характеризуется как новое учреждение в противоположность училищу, которое «уже укоренилось» [Там же, с. 50]: «Университет еще очень молод и новость его бытия очевидна повсюду» [Там же, с. 52]. О новизне локуса свидетельствует и то, что количество студентов невелико по сравнению с количеством преподавателей. Пространство университета представляет собой топос просвещения, положительно описанный и характеризующийся мотивами порядка, пользы, визуальной привлекательности: «Дом обогащен книгами и разными инструментами; <...> и удачный выбор их

есть опыт трудов, пекущихся о сем новом заведении. <...> Астрономический класс... есть также доказательство того, сколько заботятся об изучении полезном здешнего юношества. Кабинет Минеральный очень хорош. <...> Типография в наилучшем порядке. Зала Совета убрана приличным образом: в ней расставлены прекрасные произведения Российских художников» [Там же, с. 51—52]. Остраняющей образ университета диковинкой выступает образ «содранной с дикой женщины в Америке целой кожи» [Там же, с. 52]. К образовательному пространству Харькова относится и скупо описанная гимназия на 400 учеников [Там же, с. 52].

Отличие харьковского пространства от полтавского для нарратора заключается и в степени чужести. В Полтаве, а не в Харькове Долгорукий отмечает, что начал считать себя «в чужих краях» [Там же, с. 64]. Большая часть положительных черт, одновременно связанных с началом Своего, относится в тексте к полтавскому пространству исторического прошлого — к петровской эпохе, что в целом корреспондирует с репрезентацией Полтавы во втором сумарковском, левшинском и ждановском травелогах. Но в отличие от последних текстов исторические события описаны у Долгорукого более скупо и менее экспрессивно, хотя и у него имеются фрагменты, посвященные погружению нарратора в онирическое батальное пространство, оживляющее историю, делающее автора очевидцем прошлого. Так, при приближении к Полтаве происходит своего рода наложение времен в едином локусе: «Я воображал, что около сих дней тогда здесь происходило: кровь, жупел и курение дыма!» [Там же, с. 63]. Аналогичным образом описание торжественной панихиды у Полтавы по павшим воинам сопровождается соответствующим мортальным видением нарратора: «Мысль меня перенесла за сто лет назад: мне казалось, что я вижу гробы воинов отверсты; что кости их, сокрушенный временем, еще сохранили запах того пороха, который окурил последние секунды их бытия. Я мечтал энтузиазм сих патриотических мучеников» [Там же, с. 73].

В большей степени Долгорукий передает события битвы через экфразис — описание посвященных им памятников, то есть совмещающая историческое и художественное начала. При этом нарратор противопоставляет друг другу образы двух полтавских памятников. Один из них маркирован мотивами новизны, пышности, дороговизны, официальной власти и аллегоричности: «пышное и богатое убранством новой колонны» [Там же, с. 70]; «стоит до 100 тысяч», не считая «чугуна и бронзы, которые Государь сверх того... пожаловать изволил городу» [Там же, с. 69—70]; возведен по приказу «праправнука» «Великого Царя» и «попечением Малороссийского Генерал-Губернатора Князя Алексея Борисовича Куракина»; содержит в себе изображения «позлащенных цифр» «года знаменитого сражения» и «года

воздвижения колонны», «золотых змей», «пушечных жерл» и «бронзового орла», готовящегося «парить к небесам, возвестить Олимпу славу Полтавских дел» [Там же, с. 69]. Другой отмечен мотивами старости, простоты, миметичности: поставленный «иждивением некоего Господина Марченки» (по Сумарокову, «Полтавским гражданином Руденкою» [Сумароков, 1803, с. 62]. — С. Ж.) «белый каменный простой столб» «пирамидальной фигуры» с медной табличкой, на которой изображены «вся баталию и движение полков; тут вы видите Петра 1-го, Карла XII, и все их храбрые вои» [Долгорукий, 1870, с. 70]; «самый простой гуляка пешеход, хоть мало знающий грамоте, мог себе изъяснить, что это представляет и на что этот столп; ученый, сравнивая искусственный вид с естественным местоположением, мог преследовать всюду за Петром ожесточенного Шведа и участвовать живым образом в славе соотчичей. Тут убитые, раненые, пехота, конница; тут вырезано все: и взор пламенный Петра, и упрямое Карлово чело» [Там же, с. 70—71]. Данное сравнение, сделанное нарратором не в пользу нового («эта старина, почерневшая от времени, для меня гораздо была величественнее новомодных затей нашего века» [Там же, с. 70]), позволяет автору травестировать образ этого нового как прекрасной формы без содержания: «В новом зодческом здании славной сей победы увидит орла, чугуна, бронзу, гранит, и, сказавши: “Ах! Как это все хорошо!” принужден будет спросить: “Что это такое?”» [Там же, с. 71]. Дополнительная травестия достигается посредством упоминания «пустого» пространственного окружения монумента, который «без всякого прекословия прекрасен; <...> но когда видишь... чистую, ненаселенную степь, поражающую без посредства взор твой, то невольно пожалеешь о худом выборе места для таких значащих издержек» [Там же, с. 69].

Впрочем, аналогичная травестия образа полтавского памятника эпохи Александра встречается и в иных «украинских» текстах. Ср., например, со ждановским описанием «каменной, простой пирамиды» возле «церкви Спаса» (у Долгорукого «при церкви Самсония» [Долгорукий, 1870, с. 70]. — С. Ж.): «Старые памятники более занимательны, более любопытны, чем новые. <...> Я с большим удовольствием смотрел на церковь Спаса, на пирамиду, чем на новый памятник, воздвигнутый на... не могу сказать прямо, где, прежде на площади, а ныне в цветнике, в саду или в лесу, как вам угодно» [Жданов, 1843, с. 137—138]. Даже левшинский в целом комплиментарный экфразис александровского «прекрасного» и отделанного «очень хорошо» «obeliska» содержит оговорку, что тому «недостает» величественности [Левшин, 1816, с. 4—5].

Подчеркнем, что темпоральный слой петровского прошлого изображен возвышенно и / или гротеско, как в сцене торжественной панихиды,

связанной со значимым полтавским локусом¹ — курганом-Могилой — и порождающей онирический перенос нарратора в это прошлое, когда «армия живых погребала армию своих мертвецов» [Долгорукий, 1870, с. 71]. Травестии же подвергается настоящее, где на установленном на месте «рабочной славы» кресте видны «всякие подписи, Русские и Французские, нимало не ответствующие побудительной причине: весь крест исчерчен стихами и прозой — и что за стихи! Под некоторыми, забыв весь стыд и благопристойность, иные даже имя свое отважились», что расценивается автором как порча нравов, потеря «уважения ко всему достохвальному» [Там же, с. 75]. Это можно рассматривать как осквернение сакрального пространства Полтавы и отголосок культа Петра — мотива, часто возникающего в «полтавских» фрагментах русских травелогов: «Если под стенами Полтавы Россиянами не читится имя Петрово, или искажается залог признательности народной к его подвигу, то что осталось для нас святого во вселенной?» [Там же, с. 75]. Соответственно, Долгорукий всячески подчеркивает несоответствие образов петровского и современного ему города: «...сколько славен город, столько дурен в натуре» [Там же, с. 65].

3.3. Репрезентация киевского пространства

Киев, как говорилось ранее, есть одна из основных целей путешествия Долгорукого. Еще в Каневе нарратор при виде Днепра (как локуса-медиатора грез) попадает в онирический Киев, предуготовляя реальное посещение города: «Я, глядя на его быстрые струи, мечтал о Киеве, о том препрославленном граде в летописях наших, куда стремились нетерпеливо мой дух и мысли» [Там же, с. 245—246]. Также попадание в киевское пространство сопровождается традиционным для русских травелогов начала XIX века мотивом ретардации, актуализированным преодолением локуса песков: «До Киева отсюда только 33 версты; но устарили нас пески <...> От Василькова до Киева пески утомительны» [Там же, с. 253]. Ср. с фрагментом из левшинского травелога: «Лошади не токмо не могли нас мчать; но, вытянув шеи, едва тащились по глубокому песку» [Левшин, 1816, с. 87]. Кроме того, постепенность вхождения в киевское пространство связана с локусом колокольни Лавры, которая виднеется издалека, еще до непосредственного попадания в город: «Верстах в 10 от города видна уже Лаврская колокольня, и я от радости затрепетал» [Долгорукий, 1870, с. 253]. У Левшина этот момент созерцания Киева издали описан гораздо экспрессивней, чем в целом в сдержанном по тону изложении травелога Долгорукого: «Мы увидели Киев... и изумились величественным

1 Другой значимый полтавский локус в русских травелогах — Воздвиженский монастырь, он охарактеризован Долгоруким положительно: «Гордый вид монастыря... меня пленил совершенно» [Там же, с. 75].



зрелищем высокой и крутой горы, на которой посреди многих златоглавых церквей и едва видимого в отдалении города, возвышался ужаснейшей величины колосс, блистающая вершина коего, казалось, была сокрыта в облаках» [Левшин, 1816, с. 85].

Эмоциональная кульминация всего путешествия Долгорукого приходится на момент попадания в Киевскую Лавру, куда автор сразу же отправляется к могилам бабушки и дяди. Более того, это место служит отправным пунктом погружения в онирическое пространство личной истории рода: «Я не один раз приходил в сию обитель и, не тревожа никого, садился на камне против бывших ее келий, переносился мысленно во дни ее здесь пребывания, и каждое ее слово, переданное мне ее сыном, моим отцом, приводил на память» [Долгорукий, 1870, с. 286]. В целом описание Киева отличает повышенный эмоциональный фон с превалированием положительных характеристик. В частности, встречается мотив визуальной привлекательности города, связанный нередко с панорамными пейзажными описаниями: «Быстрый Днепр... красит картину города. Нет ничего приятнее, как вид из-за реки от самых Броварей; за 18 верст шпиц колокольни Лаврской кинется вам в глаза. Местоположение самой Лавры бесподобно: ничего я лучше не видывал» [Там же, с. 259]; «Весь хребет Киевских гор исполнен живописных красот»; «...храм Андрея Первозванного. Что может быть восхитительнее и величавее во всей природе этого местоположения. Нельзя остановиться на паперти его без восторгов» [Там же, с. 284]; «Как всю картину города украшает Подол! Никакому описанию поверить нельзя; надобно это видеть: один собственный взор уверит в превосходстве местоположения. Думаю, что в целой России нет ему подобного» [Там же, с. 304]. Также автор упоминает «прекрасные здания» Подола [Там же, с. 260], «прекрасный сад» при Дворце [Там же, с. 261], театр, который «снаружи хорош» [Там же, с. 262], «местоположение прекрасное» «Пустынно-Николаевского мужеского монастыря» с иконостасом «очень хорошей работы» [Там же, с. 282], «прекрасное строение» Академии, ее «со вкусом» расписанная зала, хорошая библиотека «из книг отборных и во вкусе лучшей Словесности» и «великолепный» «храм соборный» [Там же, с. 290], «здание прекрасное» Арсенала [Там же, с. 291], прекрасные окрестности Киева [Там же, с. 293]. В топосе Киева созерцатель в целом подмечает сочетание «красот природы» и «зодческих красот» [Там же, с. 284]. Причем нарратор, доводя выражение мотива привлекательности до гротеска, травестирует его, соединяя с мотивом прелести мира в негативной христианской огласовке: «Обольщение взора превосходно! Не здесь ли Иисус искушаем был диаволом, когда он за один себе поклон сулил ему все, что с высоты показал?» [Там же, с. 284]. Комплиментарным является

сравнение Киева с Владимиром, который, как указывалось ранее, служит одним из эталонов Своего, воплощением в том числе эстетического идеала. Но в Киеве нарратор вынужден признать превосходство последнего над Владимиром, который есть «Киев в маленьком виде» [Там же, с. 304] (в противовес травестийному образу Полтавы как «маленького Петербурга»). Мотив исключительной киевской красоты акцентирован и в экспрессивно-сентименталистской по духу сцене прощания с городом, когда нарратор охватывает его взглядом: «Взошел я на Андреевскую гору и окинул глазами весь Киев еще раз в жизни. Нет ничего прекрасней сего зрелища; я от него был вне себя и не вмещал своих восторгов. <...> Все способствовало к потрясению моих чувств» [Там же, с. 302—303].

Наряду с мотивом привлекательности в киевском пространстве выражены мотивы упорядоченности, масштабности, изобильности, наполненности людьми и артефактами, закономерно ярче выраженные, чем в провинциальных Харькове и Полтаве: «город велик и хорошо устроен»; «просторный городок, наполненный монастырями, прекрасными зданиями, населенный множеством обитателей; тут рынки, торги, лавки, магазины, и это только часть Киева, называющаяся Подол»; «Колокольня Печерская огромна и высока» [Там же, с. 260]; «Дворец — строение огромное, залы большие»; сад Дворца «всегда наполнен»; «Дом для Присутственных Мест велик»; «Ремесленников в городе очень много; все нужное есть; на каждом доме увидишь вывески три, четыре, разного мастерства» [Там же, с. 261]; «Дом для Контрактов выстроен превеликий на Подоле»; театр «велик» [Там же, с. 262]; «Нигде... во всей России нет столько предметов, возбуждающих любопытство, как в Киеве» [Там же, с. 263]; храм Великомученицы Варвары «довольно велик» [Там же, с. 274]; «превысокая огромная церковь»; храм Андрея Первозванного [Там же, с. 284]; «зала собрания» в Академии «велика» [Там же, с. 289]. При этом образ города не является застывшим, но находится в процессе упорядочения: киевские «горы» «до сих пор» «обрабатывают и углаживают» [Там же, с. 260]; «отделяют бульвар»; деревья в дворцовом саду «при нас садили»; «На Подоле выгорели ряды и строятся новые» [Там же, с. 261].

Еще одним важным лейтмотивом описания киевского пространства является его древность, выраженная целым рядом артефактов (особенно в локусе Софийского собора): «Между разными в Киеве древностями нигде я такой не видал, как в Софийском соборе: он в старом Киеве» [Там же, с. 275]; «два древних образа Богородицы» [Там же, с. 276]; «Надгробный камень, скрывающий гроб Ярослава <...> довольно взглянуть на него, чтоб... удостовериться в его древности»; «иконостас старинный» [Там же, с. 278]. Мотив древности акцентирован и в сцене описания Крещатика, где



локус представляет собой отправную точку путешествия в онирическое прошлое России: «Мысль все здесь дополняет: она красит каждую пядень земли, везде говорит о древности, о старых Россиянах, о младенчестве нашей Религии, о мужестве нравов, и все, на что ни взглянешь, — драгоценный монумент» [Там же, с. 284]. Отмечены также «архитектура старинная» Лавры, «храм старинный» Пустынно-Николаевского монастыря [Там же, с. 281]. В то же время Долгорукий остраивает мотив старины, вводя оксюморонный образ нового старого Киева в сравнении с Новгородом: «Киев стар, но древность его не так видна, не так осязательна, как Новгородская. Там столетия на всяком церковном здании, на всяком шпиге колокольной явственно изображены и свидетельствуют долговременность того города; здесь все что-то новое, больше моды, меньше старины» [Там же, с. 262].

Мотивы моды и роскоши еще менее однозначны в репрезентации Киева Долгоруким. Если в харьковском топосе роскошь маркировалась положительно, то в киевском — она амбивалентна. С одной стороны, мотив роскоши имеет положительную коннотацию как знак светскости / веселости жизни в Киеве. Так, Военный Губернатор дает во Дворце «роскошные праздники» [Там же, с. 261], «живет в нем очень роскошно» [Там же, с. 299]. Нарратор отмечает и «роскошную позолоту» [Там же, с. 278] иконостаса в Софийском соборе, то есть в сакральном локусе. В сфере торговли роскошь актуализирована как изобилие товаров, сообщающее образу Киева (в противоположность Полтаве) столичный (московский) оттенок: «Ничто так не удивляет, как магазин Губарева, у которого вы найдете все, что может обворожить самого равнодушного к прелестям роскоши скупца; все выписное: стекло, фарфор, золотые вещи, бронзы; о мелочах уже и говорить нечего — сюрпризы, каких лучше нет и в Москве» [Там же, с. 261]. В то же время роскошь и веселость киевской жизни относительны в сравнении со столичными, что подчеркнуто автором в ремарке о киевлянах, имеющих «мало публичных увеселений», как и во «всех Губернских городах» [Там же, с. 301]. При этом киевское пристрастие к роскоши актуализирует мотив дороговизны жизни (и даже мотовства): в период Контрактов «все магазины и лавки опустошаются, все раскупят. Поляки наезжают кучами отовсюду для своих продаж, разменов, аренд и откупов. Из карманов их посыплются кучи золота, и я видел такие дома, которые невероятный дают хозяину доход»; «продажная цена» «на все поднялась страшным образом» [Там же, с. 262]. Эти мотивы проявлены и в описании локуса театра: «...роскошь и мотовство более, нежели вкус к театру, его наполняют» [Там же, с. 262]. Тем более мотив роскоши оценен негативно в сакральном пространстве как проявление порицаемого Долгоруким смешения светского и священного начал. Автор травестирует даже значимый для него

локус Лавры, противопоставляя древнюю скромность Киевских пещер современному богатству церкви и актуализируя ранее упомянутый мотив искушения / прельщения: «Обогатилась казна монастырская, и роскошь украсила пустыню дикую и непроходную. Ныне уже надобен большой запас духовной приверженности к Вере, чтоб не соблазниться велелепной наружностью Печерской Лавры, которая, украсив соборы, иконы и утвари церковные, оставила везде знаки внутреннего пренебрежения к святым и дому Божию. Удалились от нас те дни, когда блаженные старцы, Духом Божиим ежеминутно тут водимые, силились утвердить корень Веры в сердцах благодушных Христиан. <...> богатые и пресыщенные прикрыли золотом кровы церквей и обнищали в усердии к Богу» [Там же, с. 269]. В целом Киев Долгорукого амбивалентен, вбирая в себя священное и профанное начала: «Кто хочет молиться в Киев, тот приезжай сюда к Успеневу дню; а кто ищет в нем забав, пусть жалует сюда... к Контрактам» [Там же, с. 298].

Впрочем, несмотря на критику церкви, Киев для Долгорукого остается сакральным городом в плане как истории рода¹, так и русской истории. Значительное внимание в травелоге уделено изображению различных мест, маркированных православием: локусов Лавры, церковей Св. Варвары и Трех Святителей, Андреевской и Десятинной церковей, Пустынно-Николаевского, Фроловского и Братского монастырей, Киевской духовной академии, Крещатика. Описывая Печерский монастырь, автор замечает, что «тут земля, как будто уступая святости места, дала впадину» [Там же, с. 260]. Киевские пещеры названы «обетованным местом» [Там же, с. 268]. Разумеется, отмечает автор и локус, связанный с приходом православия на Русь, что делает Киев центром веры: «Истину провидел Андрей Первозванный, когда... водрузил на сей горе крест в знамение настоящего Православия. ...где Вера убедительнее свою славу кажет, как не в Киеве?» [Там же, с. 285]. Киевское пространство исторической памяти маркировано, соответственно, мотивом первичности, свойственной пратопосу, где в легендарное время совершаются события, влияющие в дальнейшем на весь хронотоп: «Владимир построил первую здесь Христианскую церковь, которая доньше называется Десятинною» [Там же, с. 282]. Церковь же Трех Святителей связывается с легендарным пространством посрамления язычества: «она... основана на том самом месте, где идол Зевесов кинут в Днепр» [Там же, с. 283]. Заметим, что при всей ярко выраженной христи-

1 Так, по Долгорукому, локус Фроловского женского монастыря «сам по себе не значил бы ничего особенного», но он обладает личной значимостью для автора, поскольку «в нем проводила жизнь свою в монашестве бабка..., Княгиня Наталья Борисовна» [Там же, с. 285]. Даже образ дома Контрактов связывается с историей рода: «Выстроен... на самом том месте, где некогда жилали мои родители, когда они со мною, сущим младенцем, приезжали видеться с Княгиною Натальей Борисовной» [Там же, с. 286].

анской символике Киева в пространстве исторической памяти сохраняется языческий элемент в античной огласовке. Еще один пример такой скрытой оппозиции христианства и язычества в репрезентации топоса также актуализирован в стихийном локусе Днепра. Пространство последнего («дитя Нептуна») противопоставлено локусу церкви на Оскольдовой могиле: «Спустя лет триста, пятьсот и здесь... будут петь молебны, если Днепр, неугомонное дитя Нептуна, не предварит человеческих замыслов и не подмоет каменных оград нового здания» [Там же, с. 282].

Мотив сакральности Киева тесно связан с мотивом славы, закрепленным за пространством «препрославленного града» [Там же, с. 246], где проявляется «слава Веры» [Там же, с. 285]. Как и у Левшина, эта слава проявляется как свершения — и духовные, и светско-батальные. Впрочем, их не всегда можно разделить, что маркирует Киев как топос кровопролития, мученичества и подвига: «Здесь тьмы мучеников всю землю кровью своей оросили. Здесь уединенные праведники из вертепов создали храмы, обогатили их и прославили» [Там же, с. 285]. «Убогое состояние» Десятиной церкви объясняется иноземными вторжениями Татар и Поляков [Там же, с. 283]. Пространство исторической памяти Софийского собора маркировано через сюжет о «враждебных полках», которые «некогда» здесь «лошадей своих ставили» [Там же, с. 276].

С мотивами славы и священности соотнесены и локусы могил. Помимо могильных локусов, связанных с историей рода, к пространству исторического прошлого Киева относятся иные захоронения Лавры, в том числе сакральный сублокус Киевских пещер («собралась братия, ископали для остатков своих могилы при Днепре и тут положили кости свои; все спаслось около них; земля исполнилась благовония; святость убогих тружеников воссияла во всем мире Христианском» [Там же, с. 276]). Мотив святости, покоя, чистоты в описании пещер подавляют мотивы смертности и страха: «Мысль о пещерах страшна, приближаешься с ужасом, но войдешь в них, и спокойным оком, без малейшего смятения, видишь гробы по обе стороны себя; воздух чисть, свеж и прохладен, нет никакого зловония» [Там же, с. 270]. Наряду с основателями священного места Антония и Феодосия, автор особо выделяет Св. Иоанна Многострадального, Марка Гробкопателя, Ефросинию Полоцкую и Нестора. К темпоральному слою условной Древней Руси относятся и мощи Св. Князя Владимира. За пределами Лавры отмечен также гроб Ярослава в Софийском соборе, Оскольдова могила. Далее, киевские сублокусы могил представляют позднейшие темпоральные слои, корреспондированные с образами Князя Литовского (Острожского), фельдмаршалов Графа Румянцева и Князя Прозоровского, а также Княгини Екатерины Петровны Хованской. Причем если репрезен-

тация посвященного последней «светского памятника» дана в сентименталистском ключе («вспомнил ее и принес ей обыкновенную жертву человеческого сожаления — несколько слез» [Там же, с. 272]), то описания иных могильных локусов остранены и, заметим, во многом резко контрастируют с описаниями в левшинском тексте. У Долгорукого «мраморный мавзолей» Острожского маркирован мотивами авизуальности, темноты и ужаса: «Темнота теней, потому что он вдался в стену, представляет его в ужасном виде: он изображен изнемогающим на одре смерти <...> Трудно разглядеть искусство художества, потому что в эту впадину свет дневной мало дает ударения» [Там же, с. 272]. Левшин же делает акцент не на смертности, а на мотивах славы, милосердия, просвещения, а также подчеркивает не чуждость образа («Князь Литовский» у Долгорукого), а наоборот, близость к Своему — православной вере: «Гипсовой монумент, изображающий героя, на одре под балдахином лежащего, первый напоминает, что здесь покоятся остатки Князя Острожского, который, защищая свободу народа Малороссийского, покровительствуя Религию их, помогая бедным, распространяя просвещение и храбро поражая врагов, заслужил имя великого мужа и название друга человечества» [Левшин, 1816, с. 106]. Аналогичным образом, если Левшин в основном в комплиментарных тонах изображает надгробие Румянцева («Великолепный, хотя не прекрасный, памятник... украшается из белого мрамора высеченным изображением его и золотою надписью: “Внемли Росс! Пред тобою гроб Задунайского”. Что может быть величественнее, разительнее сих слов?» [Там же, с. 106]), пусть и с элементом мягкой критики («не прекрасный»), то Долгорукий травестирует экфразис, обращаясь к лейтмотиву неуместного смещения светского и сакрального: «Бюст его из белого мрамора изображает грозный вид постоянного победителя; он держит в руке булаву, под ним золотыми литерами: “Внемли, Росс! Пред тобою гроб Задунайского”. Какая жалкая суета в храме Божьем и против алтаря! ...перед Богом нет Гетманов: все рабы Господни» [Долгорукий, 1870, с. 266]. Еще более травестиен образ мощей Владимира, что актуализирует мотивы забвения славной истории неблагодарными потомками и святотатственного надругательства, которые нам встречались в репрезентации Полтавы: «Чудно ли, что храм Владимира в таком низверженном состоянии, когда сам он без пощады растерзан? Голова его в Лавре, часть его мощей в Соборе, весь он где? Никто не знает, не искал, не любопытствовал» [Там же, с. 283]. Мотивом забвения прошлого отмечено и описание могилы Нестора: «Он (гроб. — С. Ж.) малым чем отличен от прочих. Для чего не вынести его в собор, не поставить пред очами каждого? Нестор ли такого торжества не стоит? Или же мы не уразумели, что он его достоин?» [Там же, с. 270].

Примечательны также могильные локусы, которые Долгорукий *не* упоминает в Лавре — Кочубея и Искры — и которые, напротив, составляют одни из знаковых мест для Левшина. Это пространство выступает частью «петровского мифа» Малороссии, но игнорируется первым автором, равно как и негативные коннотации образа Мазепы как предателя, наличествующие в левшинском тексте («Нет для них (казаков. — С. Ж.) ничего ужаснее, как имя Мазепы» [Левшин, 1816, с. 65—66]; «лютость Мазепы» [Там же, с. 109]; «свирепый Мазепа» [Там же, с. 14]). Для Долгорукого же этот элемент малороссийской персониферы, по сути, нейтрален и просто маркирует местный колорит, подобно упоминаемому в нейтральном контексте образу Хмельницкого: «Въехали мы в пределы Украины. Зачал приходить мне на память Пан Хмельницкий и Мазепа» [Долгорукий, 1870, с. 46]; «В одной из соборных церквей... все приклады от Мазепы» [Там же, с. 270]; «Храм старинный. Строен Мазепой» [Там же, с. 281].

Что касается повседневного пространства, современному автору, то локусы богоугодных заведений Киева упомянуты скорее в негативном контексте как не имеющие «большой славы» [Там же, с. 281]. Из образовательных локусов комплиментарного тона удостоена лишь Академия. При этом достаточное внимание уделено репрезентации военной сферы Киева, которая связана с локусами дворца как места расположения Военного Губернатора, Комендантского дома и дома Провиантской комиссии. Особо примечателен в этом плане локус Киевского Арсенала, противопоставленного пространству «мирного неба» и характеризующегося соединением разных темпоральных слоев и, соответственно, повышенной значимостью для нарратора: «Сколько в одном покое сближается веков, людей и дел! Нельзя равнодушно смотреть на такое здание» [Там же, с. 292]. Значительная часть образов, актуализированных в данном локусе, маркирована противостоянием России с Османской империей как в прошлом («шатер», «завоеванный Румянцевым у Визиря»), «медные орудия, взятые у Турок», «их бунчуки»), так и в настоящем («Бомб и ядер пропасть <...> на волах возят в Молдавию: дня два постоят вокруг Арсенала пирамиды, а потом и в поход» [Там же, с. 292]). Кстати, в пространстве Арсенала воинственный образ Румянцева отмечен мотивом славы без всякой трагедии: «Взглянувши на такой памятник Российских подвигов, неволью вздыхаешь о том, кто умел ими себя и всю родину прославить» [Там же, с. 292]. Здесь же актуализирован и образ Мазепы, маркированный мотивом преходящей земной славы: «Все имеет свое время...; теперь кинь самую богатую из них («гетманщинских булавы». — С. Ж.) куда хочешь, а в руках Мазепы... не очень близко к ней подходили» [Там же, с. 292].

4. Заключение = Conclusions

Таким образом, репрезентация городского пространства Малороссии в травелоге Долгорукого «Славны бубны за горами...» носит ярко выраженные черты остранения и травестии и маркируется чужестью. Степень этой чужести, проявленной и в обусловленной языком и культурой антропности, и в своеобразии климата, вида домов и т. п., нарастает по мере удаления нарратора от пространства Своего, с которым Чужое постоянно сравнивается. Соответственно, топос Полтавы более чужд для автора, чем харьковский. Личностное отношение автора к описываемому пространству также подкреплено связью малороссийских городов (Харькова и Киева) с трагической историей рода Долгоруких. Помимо лейтмотива чужести, репрезентация Малороссии также маркирована негативно оцениваемым мотивом смещения сакрального и светского начал в описании локусов церковей, что приводит подчас к травестии этих описаний, например, возникновению образа церкви-ломбарда.

Описания Харькова и Полтавы закономерным образом отмечены провинциальной энтропийностью, включая мотивы визуальной непривлекательности, безводности, безлесности, неудобства, грязи, тесноты, «маломасштабности», бедности, дороговизны. С другой стороны, в репрезентации некоторых локусов данных городов присутствуют противоположные черты — привлекательность, упорядоченность. В этом плане образ современного автору Харькова более положителен по сравнению с полтавским. Харьков Долгорукого маркирован мотивами роскоши, веселья, тогда как Полтавы — скуки и уединенности. Позитивный образ первого города относится также во многом к образовательной сфере, представленной локусами Университета, Гимназии и Коллегиума, с которым связано и городское пространство исторической памяти.

Позитивные черты Полтавы в основном соотносены с темпоральным слоем петровский эпохи, а именно с событиями Полтавской битвы. Это батальное пространство маркировано мотивами как славы, так и смертности. Можно отметить элементы петровского мифа в репрезентации города, но он выражен слабее и менее экспрессивно, чем в ряде иных русских травелогов начала XIX века. «Прорывы» нарратора в онирическое пространство исторических событий присутствуют в тексте, однако отличаются лаконичностью описания. Мотив славного прошлого подвергается травестии в современной нарратору реальности, что провоцирует мотивы забвения и даже богохульства в рамках сакрального «петровского» мифа. Травестийны по своей сути и образы провинциальной, утопающей в грязи Полтавы как «маленького Петербурга» и нового, поставленного в правление Александра I памятника Полтавской битве в сравнении со старым. Кроме того,



отметим мотивы кажимости, несоразмерности в образе города, актуализированные в сублокусах главной площади (новом монументе, посвященном Полтавской битве, и здании «симулякре» гимназии).

Образ Киева — один из центральных в травелоге. Кульминация его представления в тексте приходится на посещение автором захоронения его бабушки и дяди в Лавре. Как и образы Харькова и Полтавы, репрезентация киевского пространства амбивалентна. Она, с одной стороны, маркирована мотивами привлекательности, упорядоченности, масштабности, богатства, древности, славы, сакральности, военности. С другой стороны, мотив роскоши, позитивный в рамках харьковского топоса, в киевском осложнен негативными коннотациями, что, впрочем, придает ему оттенок столичности. Мотивы привлекательности и военности подвергаются в тексте частичной травестизации, порождая негативные маркеры прелести / обольщения в христианской огласовке при панорамном пейзажном описании города, а также ужаса, страдания, непривлекательности, неуместной помпезности, граничащей с гордыней, в рамках описания Лавры. Мотив древности Киева также остранин за счет акцента на относительной старости визуального облика Киева в сравнении с образом Новгорода. Безусловная и травестийная сакральность киевского топоса проявлена в репрезентациях локусов церковей, монастырей, а также могильных сублокусов, тесно связанных с пространством исторической памяти. Последнее в киевском варианте характеризуется наличием нескольких темпоральных слоев, в том числе древнерусского, который актуализирует значение Киева как легендарного, изначального места в рамках русской культуры.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Источники и принятые сокращения

1. *Всеволожский Н. С.* Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Африку и Париж в 1836 и 1837 годах : в 2 т. / Н. С. Всеволожский. — Москва : Типография Августа Семена, 1839. — Т. 1. — 502 с.

2. *Греч Н. И.* Путевые письма из Англии, Германии и Франции : в 3 ч. / Н. И. Греч. — Санкт-Петербург : Типография Н. Греча, 1839. — Ч. 3. — 198 с.

3. *Долгорукий И. М.* Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года / И. М. Долгорукий. — Москва : Университетская типография (Катков и Ко), 1870. — 355 с.

4. *Жданов М. П.* Путевые записки по России, в двадцати губерниях : С. Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской,



Нижегородской и Симбирской / М. П. Жданов. — Санкт-Петербург : Издание В. Полякова, 1843. — 212 с.

5. *Левшин А. И.* Письма из Малороссии / А. И. Левшин. — Харьков : Университетская типография, 1816. — 206 с.

6. *Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова : в 2 ч. / П. И. Сумароков. — Санкт-Петербург : Императорская типография, 1803. — Ч. 1. — 276 с.

Литература

1. *Беляков С. С.* Выйти из тени Мазепы : история создания книг «Тень Мазепы : украинская нация в эпоху Гоголя» и «Весна народов : русские и украинцы между Булгаковым и Петлорой» / С. С. Беляков // Текст и традиция. — 2020. — Т. 8. — С. 381—393.

2. *Беляков С. С.* Русский взгляд на украинца / С. С. Беляков // Вопросы национализма. — 2015. — № 2 (22). — С. 80—91.

3. *Беляков С. С.* «Цветы» и «корни» украинской нации / С. С. Беляков // Вопросы национализма. — 2015. — № 3 (23). — С. 73—86.

4. *Булкина И.* Киев в русской литературе первой трети XIX века : пространство историческое и литературное : диссертация ... доктора философии по русской литературе / И. Булкина. — Тарту, 2010. — 210 с.

5. *Васильева Т. А.* «Любовь к стране своей родной и к притеснителям презрень...» : национализация древнерусского прошлого и конструирование образа Малороссии в ранней романтической словесности / Т. А. Васильева // Имагология и компаративистика. — 2016. — № 1 (5). — С. 5—29. — DOI: 10.17223/24099554/5/1.

6. *Васильева Т. А.* У истоков украинофильства : образ Украины в российской словесности конца XVIII — первой четверти XIX века : диссертация ... кандидата филологических наук / Т. А. Васильева. — Томск, 2014. — 232 с.

7. *Гуминский В. М.* «Любовь к русскому путешественнику» в контексте развития русской литературы путешествий / В. М. Гуминский // Литературоведческий журнал. — 2017. — № 40. — С. 74—145.

8. *Жданов С. С.* Репрезентация пространства Новороссии в «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумарокова / С. С. Жданов // Научный диалог. — 2024. — Т. 13. — № 5. — С. 215—239. — DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-5-215-239.

9. *Киселев В. С.* «Под отечественным небом странствую с мирною душою» : образ Украины в русских травелогах начала XIX в. (В. В. Измайлов, П. И. Шаликов, А. И. Левшин) / В. С. Киселев, Т. А. Васильева // Имагология и компаративистика. — 2015. — № 2 (4). — С. 20—42. — DOI: 10.17223/24099554/4/2.

10. *Крюкова О. С.* Романтический образ Украины в русской литературе XIX века / О. С. Крюкова. — Москва : Наука, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-02-039986-0.

11. *Кублицкая О. В.* Субъектная структура путешествий «массового сентиментализма» (на материале «Путешествия в Малороссию» П. И. Шаликова) / О. В. Кублицкая // Научный диалог. — 2022. — Т. 11. — № 7. — С. 284—303. — DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-7-284-303.

12. *Курьянов С. О.* О русско-украинских литературных связях и об украинском тексте в русской литературе / С. О. Курьянов // Крымский гуманитарный вестник : сборник научных статей. — Симферополь : ИП Минакир И. Л., 2018. — С. 40—47. — ISBN 978-5-9500652-2-4.



13. *Курьянов С. О.* Об украинском тексте в русской романтической литературе / С. О. Курьянов // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. — 2018. — № 6. — С. 765—770.

14. *Левкиевская Е. Е.* Украина и украинцы : образы, представления, стереотипы / Е. Е. Левкиевская // Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии : сборник статей. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2008. — С. 154—176. — ISBN 978-5-7575-0226-6.

15. *Марчуков А. В.* Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время / А. В. Марчуков. — Москва : Регнум, 2011. — 294 с. — ISBN 987-5-91 887-012-9.

16. *Морозова Н. Г.* К вопросу об изучении русской дневниковой прозы XVIII века / Н. Г. Морозова // Высшее гуманитарное образование XXI века : проблемы и перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — Самара : ПГСГА, 2010. — С. 370—374. — ISBN 978-5-8428-0768-0.

17. *Никольский Е. В.* «Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» князя Ивана Михайловича Долгорукого как один из первых внутренних травелогах в русской классической литературе / Е. В. Никольский // Art Logos. — 2019. — № 2 (7). — С. 8—18.

18. *Овчинников Д. П.* Малороссия и малороссийский текст в творчестве Н. В. Гоголя (введение в тему) / Д. П. Овчинников // Язык и культура. — 2016. — № 26. — С. 194—199.

19. *Соловьев А. Ю.* «Путешествие в полуденную Россию» В. В. Измайлова в контексте русской литературы путешествий конца XVIII — начала XIX веков : автореферат диссертации ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / А. Ю. Соловьев. — Санкт-Петербург, 2011. — 26 с.

20. *Сторожева А. А.* Образ степи в сентиментальных травелогах начала XIX века / А. А. Сторожева // Литература Древней Руси и Нового времени : материалы XI Всероссийской конференции «Древнерусская литература и литература Нового времени». — Москва : МПГУ, 2021. — С. 155—161. — ISBN 978-5-4263-0968-5.

21. *Фарафонова О. А.* Ориентальный травелог Павла Сумарокова («Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду») / О. А. Фарафонова // Научный диалог. — 2017. — № 7. — С. 70—82. — DOI: 10.24224/2227-1295-2017-7-70-82.

22. *Черкашина Е. В.* Языковые средства создания образа Украины в ранних произведениях Н. В. Гоголя : на материале цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» : диссертация ... кандидата филологических наук / Е. В. Черкашина. — Белгород, 2012. — 195 с.

23. *Шаталов Д. В.* «Путевая литература» начала XIX в. и формирование историографического образа украинского казачества / Д. В. Шаталов // Мир историка : историографический сборник. — Омск : Изд-во ОмГУ, 2014. — Выпуск 9. — С. 224—240. — ISBN 978-5-7779-1696-9.

24. *Шенле А.* Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий 1790—1840 / А. Шенле. — Санкт-Петербург : Академический проект, 2004. — 272 с. — ISBN 5-7331-0287-X.

*Статья поступила в редакцию 06.09.2024,
одобрена после рецензирования 02.11.2024,
подготовлена к публикации 18.11.2024.*



Material resources

- Dolgoruky, I. M. (1870). *Glorious diamonds beyond the mountains, or my journey somewhere in 1810*. Moscow: University Printing House (Katkov and Co.). 355 p. (In Russ.).
- Grech, N. I. (1839). *Travel letters from England, Germany and France: at 3 o'clock*, 3. St. Petersburg: N. Grech Printing House. 198 p. (In Russ.).
- Levshin, A. I. (1816). *Letters from Little Russia*. Kharkov: University Printing House. 206 p. (In Russ.).
- Sumarokov, P. I. (1803). *Leisure of the Crimean judge, or Pavel Sumarokov's second trip to Taurida: at 2 o'clock*, 1. St. Petersburg: Imperial Printing House. 276 p. (In Russ.).
- Vsevolozhsky, N. S. (1839). *Journey through Southern Russia, Crimea and Odessa to Constantinople, Asia Minor, North Africa, Malta, Sicily, Italy, South Africa and Paris in 1836 and 1837: in 2 volumes*, 1. Moscow: Printing house of August Semyon. 502 p. (In Russ.).
- Zhdanov, M. P. (1843). *Travel notes on Russia, in twenty provinces: St. Petersburg, Novgorod, Tver, Moscow, Vladimir, Penza, Saratov, Tambov, Voronezh, Kursk, Kharkov, Yekaterinoslav, Poltava, Kiev, Chernihiv, Mogilev, Vitebsk, Pskov, Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod and Simbirsk*. St. Petersburg: V. Polyakov Edition. 212 p. (In Russ.).

References

- Belyakov, S. S. (2015). “Flowers” and “roots” of the Ukrainian nation. *Issues of nationalism*, 3 (23): 73—86. (In Russ.).
- Belyakov, S. S. (2015). Russian view of the Ukrainian. *Issues of nationalism*, 2 (22): 80—91. (In Russ.).
- Belyakov, S. S. (2020). To come out of Mazepa's shadow: the history of the creation of the books “Mazepa's Shadow: the Ukrainian nation in the era of Gogol” and “Spring of Peoples: Russians and Ukrainians between Bulgakov and Petlyura”. *Text and Tradition*, 8: 381—393. (In Russ.).
- Bulkina, I. (2010). *Russian literature of the first third of the XIX century: the historical and literary space*. Doct. Diss. Tartu. 210 p. (In Russ.).
- Cherkashina, E. V. (2012). *Linguistic means of creating the image of Ukraine in the early works of N. V. Gogol: based on the material of the cycle “Evenings on a farm near Dikanka”*. PhD Diss. Belgorod. 195 p. (In Russ.).
- Guminsky, V. M. (2017). Russian Traveler's Letters in the context of the development of Russian travel literature. *Literary Journal*, 40: 74—145. (In Russ.).
- Kiselyov, V. S., Vasilyeva, T. A. (2015). “I travel with a peaceful soul under the domestic sky”: the image of Ukraine in Russian travelogues of the early XIX century (V. V. Izmailov, P. I. Shalikov, A. I. Levshin). *Imagology and comparative studies*, 2 (4): 20—42. DOI: 10.17223/24099554/4/2. (In Russ.).
- Kryukova, O. S. (2017). *The romantic image of Ukraine in Russian literature of the XIX century*. Moscow: Nauka. 125 p. ISBN 978-5-02-039986-0. (In Russ.).
- Kublitskaya, O. V. (2022). Subjective Structure of “Mass Sentimentalism” Travels (P. I. Shalikov “Journey to Malorossia”). *Nauchnyi dialog*, 11 (7): 284—303. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-7-284-303> (In Russ.).
- Kublitskaya, O. V. (2022). Subjective Structure of “Mass Sentimentalism” Travels (P. I. Shalikov “Journey to Malorossia”). *Nauchnyi dialog*, 11 (7): 284—303. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-7-284-303> (In Russ.).
- Kuryanov, S. O. (2018). On the Ukrainian text in Russian romantic literature. *Dynamics of linguistic and cultural processes in modern Russia*, 6: 765—770. (In Russ.).



- Kuryanov, S. O. (2018). Russian-Ukrainian literary relations and about the Ukrainian text in Russian literature. In: *Crimean Humanitarian Bulletin: collection of scientific articles*. Simferopol: IP Minakir I. 40—47. ISBN 978-5-9500652-2-4. (In Russ.).
- Levkivskaya, E. E. (2008). Ukraine and Ukrainians: images, representations, stereotypes. In: *Russians and Ukrainians in mutual communication and perception: a collection of articles*. Moscow: Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences. 154—176. ISBN 978-5-7575-0226-6. (In Russ.).
- Marchukov, A. V. (2011). *The image of Ukraine in the Russian consciousness. Nikolai Gogol and his time*. Moscow: Regnum. 294 p. ISBN 987-5-91 887-012-9. (In Russ.).
- Morozova, N. G. (2010). On the question of studying Russian diary prose of the XVIII century. In: *Higher humanitarian education of the XXI century: problems and prospects: materials of the fifth international scientific and practical conference*. Samara: PGSA. 370—374. ISBN 978-5-8428-0768-0. (In Russ.).
- Nikolsky, E. V. (2019). “The journal of travel from Moscow to Nizhny Novgorod in 1813” by Prince Ivan Mikhailovich Dolgoruky as one of the first internal travelogues in Russian classical literature. *Art Logos, 2 (7)*: 8—18. (In Russ.).
- Ovchinnikov, D. P. (2016). Little Russia and the Little Russian text in the works of N. V. Gogol (introduction to the topic). *Language and Culture, 26*: 194—199. (In Russ.).
- Schenle, A. (2004). *Authenticity and fiction in the author's self-consciousness of Russian travel literature 1790—1840*. St. Petersburg: Academic Project. 272 p. ISBN 5-7331-0287-X. (In Russ.).
- Shatalov, D. V. (2014). “Travel literature” of the beginning of the XIX century. and the formation of the historiographical image of the Ukrainian Cossacks. In: *The world of the historian: a historiographical collection, 9*. Omsk: Publishing House of OmsSU. 224—240. ISBN 978-5-7779-1696-9. (In Russ.).
- Solovyov, A. Y. (2011). “Journey to midday Russia” by V. V. Izmailov in the context of Russian travel literature of the late XVIII — early XIX centuries. Author's abstract of PhD Diss. St. Petersburg. 26 p. (In Russ.).
- Storozheva, A. A. (2021). The image of the steppe in sentimental travelogues of the beginning of the XIX century. In: *Literature of Ancient Russia and Modern times: materials of the XI All-Russian conference “Ancient Russian literature and literature of Modern times”*. Moscow: MPSU. 155—161. ISBN 978-5-4263-0968-5. (In Russ.).
- Vasilyeva, T. A. (2014). *At the origins of Ukrainophilism: the image of Ukraine in Russian literature at the end of the XVIII — first quarter of the XIX century*. PhD Diss. Tomsk. 232 p. (In Russ.).
- Vasilyeva, T. A. (2016). “Love for one's native country and contempt for oppressors...”: nationalization of the ancient Russian past and the construction of the image of Little Russia in early romantic literature. *Imagology and comparative studies, 1 (5)*: 5—29. DOI: 10.17223/24099554/5/1. (In Russ.).
- Zhdanov, S. S. (2024). Representation of the space of Novorossiya in the “Journey across the Crimea and Bessarabia in 1799” by P. I. Sumarokov. *Nauchnyi dialog, 13 (5)*: 215—239. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2024-13-5-215-239>. (In Russ.).

*The article was submitted 06.09.2024;
approved after reviewing 02.11.2024;
accepted for publication 18.11.2024.*